



В. А. МАКЛАКОВ

Из прошлого*

Для эмиграции единственное «завоевание» революции — это вынесенный из пережитого опыт и связанное с ним лучшее понимание прошлого; и — что не менее ценно — возможность говорить о нем, не стесняясь более «тактическими соображениями» и не опасаясь этим чему-то мешать. Конечно, ради *этого* революции делать не стоило; но было бы печально, если бы даже ее оказалось для этого недостаточно.

«Тактические соображения» в прошлом можно было понять. Мы сами придали нашей политической жизни характер междупартийной войны. Недаром, несмотря на традиционный пацифизм и нерасположение ко всякой военщине, мы не выходили из *военных* терминов и метафор; постоянно говорили о «принятии боя», «проведенных кампаниях», «отбитых атаках», «переходах в наступление» и т. д. Эта характерная привычка осталась; даже большевики, у которых нет партий и потому нет и партийной войны, тем не менее не расстаются с военным языком; говорят о «фронтах», «ударных порядках». Таким образом мы добровольно переселили себя как бы в атмосферу *войны*; а у войны свои нравы, *своя* специальная ложь; на войне принципиально не признают своих поражений, а тем паче ошибок; не признают правоты у врагов. Недаром Бисмарк сказал, что никогда так люди не лгут, как перед выборами, после охоты и во время войны.

Эта система и *раньше* едва ли была совершенно безвредна. Между войной и политикой есть разница. На войне высшее руководство

* Приступая к печатанию воспоминаний В. А. Маклакова, редакция, естественно, не принимает на себя ответственности за те заключения философско-исторического и политического порядка, которые автор делает попутно. Эта оговорка особенно относится к печатаемому в настоящей книжке журнала первому, вводному по своему характеру очерку В. А. Маклакова.

делами находится в руках начальников, т. е. небольшой группы лиц, которая *знает* правду, а от других требует только доверия и послушания. Если руководители скрывают правду *от других*, то этим они *себя* не обманывают. В политике же в окончательном счете всегда приходится оперировать «общественным мнением», в котором видят «волю народа». И если это мнение систематически обрабатывать, хвалить в своей политической прессе своих и себя, хулить противников, создавать легенды о своих талантах и популярности, прославлять своих героев, а потом по *этой* прессе и откликам на нее судить о настроении общественного мнения, то таким путем вводят в опасное заблуждение уже *себя*. Откуда могла взяться, например, эта уверенность в своем авторитете, когда Временное правительство, решаясь присвоить себе неограниченную самодержавную власть, объяснило в своей декларации, будто «доверие страны» к людям в него вошедшим «обеспечено их прошлой общественной и политической деятельностью»? Могли ли наши политики серьезно считать «обеспеченным» это доверие, если бы они не загипнотизировали сами себя своей собственной прессой и созданными ею своими почитателями и друзьями? В одной из речей в III-й Государственной Думе А. И. Гучков сказал про русский до-революционный строй — «старый порядок погиб от лжи». Это правда; только это не привилегия одного *старого* строя; нравы всех политических партий в партийной их жизни *mutatis mutandis*¹ напоминают друг друга.

Раньше это все же можно было понять; *теперь* эта условная ложь была бы лишена всякого смысла. Сами военные после войны перестают принимать за чистую монету свои бюллетени, начинают объективно изучать ход операций и прежде всего искать в них своих ошибок. Нет основания не делать этого и эмиграции. Как бы мы ни смотрели на ближайшее будущее, связь с прошлым, в котором еще так недавно эмиграция играла первую роль, разорвана полностью. Прошлое ушло в историю; и не только династия, дворянство, придворный и чиновничий класс, но вместе с ними и прежние *общественные деятели*, прежние *партии*. Пытаться сохранить их организацию и традиции, воображать их действующей силой и продолжать за границей по-прежнему бороться друг с другом — занятие такого же порядка, как вступление на Всероссийский престол нового императора. За Кириллом по крайней мере есть голое право, принцип легитимизма². А у наших политических *партий* нет даже и этого; у них только упорная сила привычки. *Все* теперь изменилось. В России создадутся совершенно *новые* партии и их руководители, которые наметятся *там*. Эмиграция сможет принять участие в возрождении нашей родины только

в меру того, как она сумеет понять, каково то новое общество, которое выросло уже на революции, сумеет усвоить его психологию, взгляды, сильные и слабые стороны и захочет помочь *ему* своим опытом. Но *наши* старые «герои» и «подвиги» сами по себе никого уже не интересуют в России; интересовать они будут только историю. Во имя чего же должны были бы мы и теперь отстаивать те официальные версии и бюллетени, которые мы выпускали во время нашей прошлой войны?

Поступать так, защищать *à outrance*³ наши прежние положения, значило бы отказаться от того преимущества, которое нам дает наше парадоксальное положение. Революция провела грань между настоящим и прошлым; но нашему поколению было дано жить в *обеих* эпохах; оно может сочетать в себе беспристрастие историка с осведомленностью современника, быть историком *современных событий*. Свое прошлое мы можем наблюдать в исторической перспективе, зная, к чему оно привело; можем поэтому теперь судить о нем вернее, чем раньше. Но для этого необходимо отказаться от претензий на непогрешимость; напротив, нам самим нужно искать *своих* ошибок, как ищут именно *их* при анализе проигранной шахматной партии. Они нам виднее. Едва ли разумно обличение *наших* ошибок предоставлять только нашим старым врагам да ренегатам. Ведь если мы и сейчас, после 1917 г., станем доказывать, что ни в чем не ошибались, что все предвидели и обо всем предупреждали, нам все равно не поверят. Такой позицией мы только увеличим кредит тех наших противников, от которых нам нечего ждать ни правды, ни понимания.

Обнаруживать свои ошибки часто есть прямой интерес и даже долг побежденного. Ведь если бы в наших действиях не было этих ошибок, то вина за поражение лежала бы на *деле*, которое мы защищали. Если бы нам удалось убедить, что мы всегда поступали так, как поступать были должны, мы дискредитировали бы *самое дело*. Это особенно нужно помнить тем, кто в России служил прогрессивным течениям. Либеральные идеи переживают кризис и в Европе; но здесь их не отрицают; их благодетельная роль в *прошлом* ясна для всех; а что касается до будущего, то очень возможно, что социальный тупик, в который сейчас уперлась Европа, требует для своего разрешения уже *других* принципов общежития. Иначе стоит дело с Россией; по мнению передовой русской мысли, поднять ее должно было именно слишком запоздалое ее *либеральное* обновление. За *него* шла борьба со старым режимом; и однако, когда пал старый режим и представители либеральных течений очутились у власти, произошла катастрофа России. Это совпадение, которое можно по-разному объяснять,

но которого все-таки нельзя отрицать. Немудрено, если многие, не разыскивая более глубоких причин, за эту катастрофу обвиняют самые идеи, которые либерализм с собой принес. А между тем для тех, кто под впечатлением катастрофы не изменил самим идеям, должно быть ясно, что роль *этих* идей в России еще не сыграна; и что выйти из той пропасти, куда столкнули Россию, вернуть ее к прежнему уровню, в окончательном выводе можно только через них. И потому на тех, кто представлял когда-то в России эти идеи и сознательно служил им, лежит долг не защищать во что бы то ни стало себя и свои прошлые действия, а напротив, самому *объяснить* свою неудачу.

Катастрофа России больней всего ударила по *либеральному* лагерю; их старые противники и соперники и справа и слева в настоящей момент находятся в несравненно более выгодном положении.

Защитники старого режима, если бы они хотели остаться на исключительно *партийной* позиции, могли бы даже торжествовать и злорадствовать. Видимость правды сейчас на их стороне. Едва ли можно сомневаться, что суд истории осудит их более всех остальных. *Они* долгие годы имели в руках власть, никем не оспоренную и ничем не ограниченную; если бы в свое время они воспользовались этой властью для того, чтобы вести Россию вперед по тому пути, по которому ей все равно неизбежно было идти, если бы ее государственную отсталость они не принимали лицемерно за ее преимущества, не старались охранять и защищать в ней то, что было ее недостатком, то какую мощь сейчас представляла бы Россия! И для этого нужно было только, чтобы власть необходимые преобразования вводила сама, вовремя, не твердила бессмысленной фразы, что сначала нужно «успокоение», и в результате не запуталась бы в собственной лжи. Так, наверное, скажет история; но современники судят иначе. В центре их суждений не может не стоять *теперешняя* катастрофа России, ее революция. Что бы история про нее ни сказала впоследствии, *сейчас* революция наше несчастье. Потому-то *празднование* ее годовщины в среде эмиграции звучало таким же диссонансом, каким было бы для *побежденных* празднование дня объявления *несчастной войны*. И отношение к революции *оправдывает* правых в глазах современников. *Они*, по крайней мере, ей вовсе не радовались и ее никогда не приветствовали; кроме отдельных перебежчиков, среди которых было так неожиданно увидеть того, кто *сейчас* заявляет притязания на императорский трон, правые направления к революции *не* приобщились. Но отдельные ренегаты и предатели в счет не идут, а *кроме них* все правые все время оставались в рядах врагов

и жертв революции; они по-своему с нею боролись и только были побеждены в этой борьбе. Но этого мало. Любопытно, что и в своих предсказаниях правые оказались пророками. Они предрекали, что либералы у власти будут лишь предтечами революции, сдадут ей все позиции. Это был главный аргумент, почему они так упорно боролись против либерализма. И их предсказание подтвердилось во всех мелочах; либералы получили из рук государя его отречение, приняли от него назначение быть новой властью и менее чем через 24 часа сдали эту власть революции, убедили Михаила отречься, предпочли быть революционным, а не назначенным государем правительством. Правые не ошиблись и в том, что революционеры у власти не будут похожи на тех идеалистов народовластия, которыми их по традиции изображали русские либералы; не ошиблись в том, что революционеры превзойдут старую власть в деспотизме, жестокостях, насилии над народом, презрении к человеческой жизни и личности. И получилось то, чего еще так недавно ожидать было нельзя; *началась огульная реабилитация и идеализация старого*. Она, может быть, не касается эпохи Николая I, которую нам уже так же трудно представить себе, как средневековье или эпоху египетских фараонов; мы, с нашими современными воззрениями, не сумеем перенестись в психологию общества, в котором большинство населения на праве частной собственности принадлежит меньшинству, где торгуют людьми, словом, где в государстве есть рабы или крепостные. Но зато самые мрачные страницы реакции Александра III в сравнении с эпохой рабоче-крестьянского правительства кажутся теперь идеалом общественного порядка, свободы и права. Нет ничего жестокого и бессмысленного из той печальной эпохи, до знаменитых «кухаркиных детей» включительно, что бы не было теперь воспроизведено и во много раз превзойдено «народными комиссарами». Я уже не говорю о времени после 1905 г., которого с тем, что теперь происходит, вообще сравнить невозможно. И потому убежденные сторонники старого строя давно не имели такой благодарной позиции для благовидной *защиты прежних* своих положений. Они получили внешнее право сказать: все, что происходит, мы предвидели и обо всем вас предупреждали; вы погубили Россию с тех пор, как *нас* победили.

Совсем иная, но во многом опять-таки не безнадежная позиция принципиальных сторонников революции. Термин «революция» настолько многосторонен и спорен, что его нельзя употреблять без пояснения; и потому я должен указать, в каком смысле я его понимаю в дальнейшем.

Как бы ни определять «революцию» вообще, после событий в России некоторый черты революции поневоле выступают

на первый план как ее главный, существенный признак. После Революции 1917 года нам самим стало уже невозможно называть «революцией» события 1905 года, которым раньше мы так охотно эту кличку давали. Революцию, очевидно, прежде всего надо противопоставлять «эволюции». Где же грань между ними и когда «эволюция» превращается в «революцию»? Есть один признак, который позволяет эту грань провести. Как бы глубоки ни были перемены в государственном строе, при эволюции власть *преемственно* происходит от *предыдущей*. Но бывают случаи, когда непрерывная преемственность государственных форм насильственно нарушается, когда появляется власть, которая смотрит на себя не как на *правопреемницу* предыдущей, а как на ее *победителя*; она ведет свои полномочия от *непосредственной воли народа*, которая на этот раз выражается не через прежние, легальные органы, а путями новыми, иногда очень сомнительными. *Такая* власть умышленно разрывает свою законную связь с предыдущей, смотрит на старую власть как на побежденного, иногда как на преступника и искренно или притворно доказывает, что своим появлением она выражает истинную волю страны. В этих случаях мы имеем налицо «революцию»; это антипод «эволюции».

Таков этот определяющий государственно-правовой признак; но в житейском смысле мы называем революцией весь «период», исторически и политически связанный в единое целое, а не тот отдельный «момент», который определяет революционный характер периода. Например. В конце 18-го века во Франции произошла революция. Началась она простой эволюцией; ни созвание Генеральных штатов 5-го мая, ни их отказ разойтись 23-го июня, ни взятие Бастилии 14-го июля не составляли еще революции, они были лишь красочными эпизодами процесса простой, хотя и ускоренной *эволюции*. Если бы выработанная Национальным собранием и утвержденная королем конституция укоренилась бы и Франция из абсолютной монархии превратилась бы в конституционное королевство, то эта глубокая перемена, которая покончила бы и с абсолютизмом, а за одно и с феодализмом, была бы все-таки реформой, а не революцией. Но эта реформа превратилась в революцию потому, что события развернулись иначе; монархия наделала непоправимых ошибок, и три года спустя после созыва Генеральных штатов, 30-го августа 92 г. король был низложен и провозглашена неограниченная власть Конвента как выразителя народного суверенитета: только в *этот* день преемственность государственной власти была разорвана и уже *юридически* совершена революция. Но история, конечно, называет этим словом

весь слитный период и начинает его не только раньше 5-го мая, но вообще отказывается указать для начала определенную дату.

Революция была и у нас в России, и начало революционного периода с исторической точки зрения может быть приурочено и к 1917 г., и к 1905 г., а при более широком взгляде на вещи и к 1861 году; но это можно утверждать потому, что революционный переворот *за это время* все-таки совершился. Но был он не в 1905 г.; как ни громадна была перемена, произошедшая в России в этом году, она была сделана законной русской властью, была поэтому только большой реформой, свершившейся путем эволюции. Не было революции и в день отречения государя — 2-го марта 1917 г. Когда Николай II отрекся от престола за себя и за сына и передал трон Михаилу, когда он этим же актом отречения установил ответственное министерство и назначил князя Львова председателем Совета министров по желанию Думы, то как бы ни была колоссальна реформа, внесенная этим в русскую жизнь, она была бы опять-таки эволюцией, а не революцией, как и в 905 г. Революция в техническом смысле произошла на другой же день после отречения государя, в тот роковой для России день — 3-го марта, когда Михаил по совету Комитета Государственной Думы не принял престола, объявил трон вакантным и когда назначенный государем председатель Совета министров пренебрег таким назначением, не захотел быть законной властью, а предпочел свое происхождение вести *от победы над старым порядком*, от самозванных органов революции, от Временного комитета Государственной Думы и даже Совета рабочих депутатов. Появление *такого* правительства было уже подлинно революцией. Это, между прочим, показывает, насколько французские революционеры 18-го века были умереннее нас, русских людей. Там королевская власть после созыва ею Генеральных штатов держалась три года; ей прощались и ее бессилие, и ее ошибки, и конфликты с Законодательным корпусом на самых острых вопросах, и даже такие безумные жесты, как бегство королевской семьи в Варенн. Нужны были преступные сношения короля с внешним врагом во время войны, словом, нужна была формальная измена, чтобы королевская власть была упразднена и королевская семья взята под стражу. Наши же *монархисты*, ибо члены Временного правительства, кроме А. Ф. Керенского, были все монархистами, свой приход к власти *с этого начали*. Но как бы то ни было, 3-го марта 1917 г. в России совершилось то падение власти, которое превратило весь период в революцию в техническом, а не только переносном смысле этого слова. Через восемь месяцев в октябре произошла новая, вторая революция; большевики тоже свою

власть обосновали не на передаче им этой власти низвергнутым ими правительством, не на фикции правопреемства, а на своей победе, на непосредственно выраженной якобы этой победой *воле народа*. Это была вторая революция. И если бы первое Временное правительство не убедило Михаила отречься, а парламентарная монархия, с ним во главе, окончилась бы такой же большевистской победой, то события в России все равно *во всей совокупности* перешли бы в историю как *революция*.

Перерыв власти, отсутствие преемственности между новой властью и предыдущей не только отличает революцию от смежных и сходных политических явлений, но и многое в ходе ее объясняет. Во-первых, именно этим революция отличается от тех незаконных действий, нарушающих (хотя не всегда) самые основы государственного порядка, которые мы относим к категории «государственных» или «дворцовых» переворотов. В этих последних случаях переворот, как бы он ни был глубок, тщательно скрывает свой формально незаконный характер, сознательно и искусственно поддерживает фикцию преемственности новой власти от старой, старается оградить существующий строй от потрясений, локализовать происшедшие перемены. Потому и «государственный» переворот, когда незаконие делается органами самой государственной власти как таковой (2 декабря, 18 брюмера, наше 3 июня) и «дворцовый» переворот, который делается либо частными людьми, либо органами власти, но не в качестве таковой (28 июня, 11 марта) являются, как это ни парадоксально, не революцией, а ненормальной и экстраординарной формой государственной *эволюции*⁴.

Во-вторых, этот признак крушения старой власти и всего старого порядка объясняет некоторые, хотя производные, но неотъемлемые черты революции. К ним принадлежит, например, радикальность и глубина тех политических и социальных перемен, которые революция приносит с собой, и специфический характер их проведения, т. е. беспорядки, насилия, анархия. Могут ли при революции события развиваться иначе? Для того, чтобы пало правительство, несмотря на все преимущества, которые дает фактическое обладание властью, и чтобы кто-то иной мог навязать себя стране в качестве органа народного суверенитета, нужна *такая* смута в умах, такое «дерзание» с одной и «малодушие» с другой стороны, которое само собой не может не сопровождаться потрясением всего государственного организма со всеми обычными проявлениями этого. Падение привычного строя, утрата понимания того, что позволено и не позволено, появление на сцене новых самочинных органов, которые говорят и действуют именем не-

ограниченного суверена народа, расправа с теми, кто еще накануне законно приказывал и запрещал именем того же народа, толкает страну на путь эксцессов и дерзаний, тем более кровавый, чем больше накопилось в стране злобы против старой власти и вражды отдельных классов друг против друга. Если *не в этом* состоит революция, то и революция не бывает *без этого*.

Революции по тем же причинам свойственен и другой признак; а именно глубина перемен, которые революция приносит с собой в государственную и общественную жизнь. Пока налицо одна эволюция, т. е. пока новая власть, хотя бы созданная путем государственного или дворцового переворота, признает законность вчерашнего строя, преемственно связана с ним и с силами, на которые он опирался, до тех пор в осуществлении реформ, которые приносит с собой новая власть, как бы они ни были глубоки, будет известная степень сдержанности и постепенности. Новая власть в этом случае со старым порядком не рвет, а только его *исправляет*. В этом ее противоположность с революцией. Только когда старый строй сметен народной бурей и к власти приходят новые люди, когда сторонники старых порядков объявлены преступниками против народа и их гонят жесточе, чем накануне они сами гнали своих теперешних победителей, только тогда народные мечтания, хотя бы и на короткое время, осуществляются полностью, без уважения к старым *правам, традициям и интересам*.

Революция, таким образом, явление сложное, и потому так разнообразны мотивы, которые вербуют ей сторонников и поклонников. Я говорю о *революционерах сознательных*, т. е. о тех, кто умышленно ее добивается, кто хочет не улучшения, а *падения* старого строя, кто иногда даже боится его исправления, так как исправление может этот строй *укрепить*. Революционеры не стремятся *влиять* на власть, а ведут *войну* с нею, ищут *победы* над ней, и новую власть хотят основать на непосредственной воле народа. Можно спросить себя: как можно желать такой рискованной перспективы, как революция, при которой законная, привычная власть рушится, когда новые претенденты на власть могут оказаться непринятыми и когда всем грозит опасность безвластия, про которое Тэн верно сказал, что оно *хуже*, чем *плохая* власть. Есть много причин, которые заставляют, несмотря на опасность этого, все-таки желать революции. Одни, революционеры-утописты, добиваются ее потому, что сознают, что их общественный идеал так далек от действительности, что от основ существующего порядка к нему *не может быть* легального перехода. Ее может хотеть и тот, кто, не стремясь ни к чему невозможному, в своем нетерпении хочет сразу всего и потому предпочитает медленному

и верному пути эволюции хотя и рискованный, но зато более быстрый путь революции. Ее принимают и те, кто на существующий государственный строй смотрят так безнадежно, что не верят в возможность его улучшения, считают его клеткой, которую нужно разбить, чтобы выйти на волю. Те, наконец, у кого главный движущий стимул есть ненависть к существующему порядку, кто разрушение его ставит самостоятельной целью, не задаваясь вопросом, что будет потом, как на войне прежде всего стремятся к победе, не помышляя об условиях мира. Это главные разновидности серьезных и подлинных революционеров. Есть и другие, революционеры по недоразумению. Есть честолюбцы, которые любят самую обстановку революционных переворотов, так же как иные любят *военное дело*. И войны, и революции предъявляют спрос на особые свойства характера, открывают для тех, кто одарен этими свойствами, перспективы исключительных личных успехов и возвышений, дают им возможность из «ничего» сделаться «силой»; поэтому есть профессиональные революционеры, как есть профессиональные любители военного дела, которым, в конце концов, все равно, за *кого* и за *что* воевать. Иные любят революцию «со стороны», из эстетики и снобизма, как есть *такие же* поклонники войн. Это любители «героического» в жизни, ценители сильных характеров и ощущений, принципиальные ненавистники умеренности и осторожности, неустанно жалуящиеся, что мирным путем ничего добиться нельзя, а когда им удастся мирному пути помешать, с гордостью указывающие, что они оказались пророками. Подобные революционеры часто мечтают о революции лишь потому, что не дают себе труда подумать о том, что из нее *на деле* получится. Есть, наконец, главное «пушечное мясо» всех революций, озлобленные и желчные неудачники, которым в условиях обыкновенной жизни нечего делать, которые рады всякому перевороту уже потому, что если они на нем и не выиграют, то наверное ничего не потеряют. Есть и другие.

В идеологии *всех* сторонников революции есть одно общее свойство, без которого революционером вообще быть невозможно; все они не *дорожат* старым порядком. Конечно, в отношении их к старой России целая гамма, начиная с простого к ней равнодушия и кончая такою глубокою ненавистью, при которой одно уничтожение старого уже кажется «завоеванием». Ненависть к тому, что существует, может быть не менее действенной силой, чем преданность идеалу. Было бы несправедливо видеть в таком отношении к старой России отсутствие любви к своей родине, как это иногда говорят в порядке полемики; нельзя заставлять любить недостатки, и в старой России было много бессмысленного,

жестокого и даже гнусного. Но в глазах людей революционного настроения эти недостатки до такой степени занимали *первое* место, что покрывали собою все то исторически необходимое и даже полезное, что в старой России было за этими недостатками скрыто. Исторически сложившийся в старой России государственный строй, его верхние исторические социальные силы, династия, дворянство, чиновничество, буржуазия, — все казалось прогнившим насквозь, незаслуживающим ни сожаления, ни пощады, негодным ни на какую политическую роль в обновленной стране; по мнению революционеров, они должны были *исчезнуть* в новой России. В старой России люди революционного настроения ценили только тех, кто с нею боролся, кто был ею обижен, унижен или отвержен. Только в *этих* элементах они искали основ ее возрождения. Симпатии революционеров шли не только к политическим врагам старого строя, не только к идеалистам, борцам за лучший порядок, но вообще ко *всем жертвам* среды, даже к подонкам общества, огаркам и героям трущоб. Такая нездоровая идеология была необходима, чтобы в России *желать* революции. Должно было быть ясно для всех, к чему она приведет. В стране столь насыщенной застарелой злобой, социальной враждой, не забытыми старыми счетами мужика и помещика, народа и барина, в стране политически и культурно отсталой, падение исторической власти, насильственное разрушение привычных государственных рамок и сдержек не могли не перевернуть общества до основания, не унести с собой всей старой России. Это было величайшей опасностью, но революционеры ее не боялись. Для многих из них в этом было, пожалуй, «главное завоевание» революции. Оно устранило бы возможность переживания традиций старой России, влияния прежних людей. Революционеры были хирургами, которые считали бесполезным *лечить*: потому они с легким сердцем отрезали и удаляли зараженные органы. Уничтожение старого привычного строя казалось им уже само по себе самостоятельным благом; оно разрешало *первую* половину задачи. Поэтому так враждебно встречали они указания на неподготовленность народа к управлению государством, на опасность *для него самого* слишком полной свободы. Такие предостережения рассматривались как недостойные отговорки, как отсутствие обязательной веры в народ, как сокровенное желание сохранить в неприкосновенности привилегии старого строя. Даже те люди, которые по своим программам не хотели ничего утопического, которые стремились к тому же демократическому идеалу, к которому с 61 г. медленно с зигзагами и отступлениями, но все-таки неуклонно шло развитие русского государства, даже эти люди часто не боялись, а *жаждали* револю-

ционного переворота; в нем они видели единственную гарантию серьезного, не фиктивного улучшения, устройства жизни на настоящих народных началах. Старый строй был им органически чужд; при нем они себя дома не чувствовали в своем собственном государстве. Это широко распространенное настроение среди людей различных идеалов, классов и направлений, так блестяще и верно изображенное Е. Д. Кусковой в «Обескрыленном соколе»⁵, настроение, созданное прежде всего виною и ошибками самого старого строя, было и главной предпосылкой для революции и причиной ее рокового исхода.

Как же могут люди подобного настроения, если они его сохранили, относиться теперь к тому, что в 1917 году случилось с Россией? Хотя с разными оговорками, но в конце концов положительно; недаром они и сейчас считают революцию «завоеванием», а не несчастьем. Но «завоевание» революции пока только в одном, в разрушении старой России; *ее* больше не будет. Если появится опять крупное землевладение, будут новые предприимчивые «плантаторы» вместо старых ненавистных «помещиков»; если возникнет вновь промышленный капитализм, будет самостоятельная, неизбалованная покровительствами, американизированная буржуазия; будет и *новая* интеллигенция и *новое* крестьянство. Если бы каким-либо чудом в России случилось даже то, что именуется реставрацией, то реставрированная Россия была бы также мало похожа на старую, как Франция Людовика XVIII была мало похожа на эпоху Людовика XV. В России наступило время совершенно новых людей и новых порядков. И для подлинных революционеров, т. е. для тех, кто ничего не жалеет в *старой* России, в этом одном есть уже «завоевание» революции.

Но если с известной точки зрения гибель старой России можно считать «достижением», то этой гибелью пока ограничиваются все «достижения». Самые убежденные революционеры не могут радоваться тому, *как* пошли дела после их победы, т. е. после их революции. Их великий Февраль был сменен Октябрем. То, что сейчас происходит в России, так ужасно и отвратительно, так непохоже на то, о чем мечтали и чего хотели революционные партии, что многие революционеры отказываются признавать большевизм революцией. Для них она настоящая «контрреволюция». В этом есть доля правды, к которой будет интересно вернуться. Но дело не в этих политических терминах. Несомненно, что в методах управления, в своем отношении к народу, в уважении к праву и личности большевистская власть превзошла все то худшее, что бывало при старом режиме. Но ведь смысл и *raison d'être*⁶ «революции» состоит вовсе не в улучшении приемов управления государ-

ством. Когда Е. Д. Кускова говорит в своей статье «Обескрыленный сокол», что «основная цель революции», за которую «положили голову множество людей и поколений», была «революционное преобразование России на основах права и свободы», то нужно с грустью признать, что если это так, то в таком случае головы были бы положены за квадратуру круга, за недостижимую цель. К преобразованию страны на *таких* основах нельзя было идти *революционным* путем. В этом трагическая сторона революции; она сама по себе есть всегда отрицание и забвение свободы и права. У революции свои другие кумиры; совсем не законность и право, а выявление *воли народа*, которая, почувствовав себя суверенной, не знает ничего выше себя и не уважает ни свободы, ни прав меньшинства или отдельных людей. *Воля* народа или, что то же, воля его большинства вообще очень редко ценит уважение *к праву*; нужно большое политическое воспитание, чтобы весь народ понимал благодетельное значение «права», которое ограничивает его собственный произвол. Народу, внезапно путем переворота вышедшему на полную свободу, этого никогда *не дано*. М. Сизэ сказал про революционеров знаменитую фразу, которую не следует забывать: «*Ils veulent être libres et ne savent pas être justes*»⁷. Таковы люди во время всех революций; такова людская природа. Революцией, конечно, можно достичь очень многого; можно свалить прежнюю власть, можно уничтожить прежний правящий класс, можно переставить ступени общественной лестницы и т. д. В этом состоят так называемые «завоевания» революции. Но все это достигается *за счет* законности, свободы и права. Свобода и право могут потом возродиться опять, как, наверное, они возродятся когда-нибудь и в послереволюционной России; но это будет, когда не будет больше революции, когда возненавидят ее приемы и самую память о ней. И в России, как везде, стимулом к *революции* была не тоска народа *по свободе и праву*, а желание его смести старый ненавистный порядок, разрушить как можно полнее традиции прошлого. А это разрушение старого, которое действительно достигнуто революцией и превыше всех ожиданий, было достигнуто больше всего благодаря именно большевикам. Нужно было сделать то, что сделали они, т. е. уничтожить кровью и голодом господствовавшие социальные классы, уничтожить, не считаясь ни с человечностью, ни с справедливостью, ни с пользой для страны в ее целом, нужно было сознательно идти на разорение, развращение и уничтожение России, чтобы положить между старой и новой Россией ту непроходимую грань, которая сейчас существует. Это сделал не Февраль, а *Октябрь*. Без Октября дело пошло бы иначе, шаблонным порядком; связь с прошлым не была бы вовсе порвана.

Несмотря на революцию, прошлое, хотя не сразу, пробилося бы даже через четыреххвостку. Не будь Октября, Февраль *мог* остаться сотрясением на поверхности. Он и сам по себе в тот момент мог причинить России много зла; он вывел бы ее из числа воюющих стран, лишил бы ее результатов победы, разорил бы отдельных людей, всех бы испугал и встревожил и вызвал бы в стране ту жажду порядка, которая подготовила бы реакцию в настроении, а через нее и реакцию политическую. И если бы эта реакция восстановила порядок, то преходящие беды Февраля скоро забылись бы; потомки могли бы действительно смотреть на Февраль как на *начало лучшей* эпохи. В России остались бы прежние классы, остался бы прежний социальный строй, могла бы быть парламентарная монархия или республика; революционная буря унесла бы с собой только то, в чем были *слабые* стороны старой России, ее сословный уклад, отжившие дворянские привилегии, бессмысленное правовое положение крестьянского большинства, неполноправность национальных меньшинств, личный безответственный режим наверху и т. под. Но все это и без того было программой либерализма. И тогда в результате революции получилось бы только то, к чему Россия шла и *без того* эволюционным путем, к чему она и без революции *все равно пришла бы* хотя и позднее, но зато гораздо более верным путем и с бесконечно *меньшими* жертвами. Если бы события развернулись *так* и в окончательном итоге Февраль привел бы к торжеству *либерального* лагеря, то революционеры, которые его сделали, были бы, конечно, *разочарованы*. Как всегда бывало в истории, они стали бы обвинять либералов в измене, в предательстве, говоря и совершенно правильно, что из-за *такого* результата революции делать не стоило, что незачем было проливать ту кровь, которую они все-таки пролили. Один Февраль без Октября мог превратиться в *буржуазную* революцию, что революционеры предвидели, но чего совсем не хотели. На это и рассчитывал либерализм, когда примкнул к революции. И недаром «революционная демократия» в первые же дни революции стала в оппозицию к либеральному лагерю, вынудила у либералов уступки, которыми либералы от себя отrekliсь и тем себя погубили. Если Февральская революция не прошла до конца по этой шаблонной дороге, не обманула революционеров, не была использована в свою пользу их противниками — либералами, то только потому, что Февраль, боясь быть обманутым либералами, фатально привел к Октябрю. И только Октябрь свел Россию с обычной дороги и закрепил пресловутые «завоевания» революции.

Этими «завоеваниями» воспользуются будущие поколения; на долю нашего выпали одни жертвы, и сами победители сейчас

в ссылке и эмиграции. Но один результат, к которому они стремились и которого достигли, т. е. уничтожение старой и создание *новой* России, сам по себе требовал жертв. «Даром ничто не дается, судьба жертв искупительных просит», — говорит поэт⁸. Пусть громадность жертв приводит в ужас даже тех, кто по первоначальному их принимал как неизбежное. С их стороны это излишняя сентиментальность. Надо быть последовательным. Во-первых, при революции и особенно в такой стране, как Россия, *иначе* быть не могло. Всякая революция ужасна, как и война; думать, что революцию можно сделать без жертв, то же самое, как мечтать о бескровной войне. И при виде неисчислимых жертв революции революционеры могут за них винить наше прошлое и утешать себя тем, что это неизбежные муки рождения нового лучшего строя, который все же рождается. А во-вторых, если только уничтожение старой России, с ее историческим обликом, было действительно *благом*, то можно ли говорить, что какие-либо жертвы, принесенные за это благо, слишком велики? Если это благо, то надо не считать понесенные жертвы, а спрашивать лишь об одном: не были ли жертвы *напрасны*, действительно ли враг побежден? А в этом сомнения быть не должно; главный враг, т. е. старая Россия, побеждена окончательно; ей более не подняться. То, чего опасались настоящие революционеры, т. е. чтобы старая Россия, освободившись от некоторых своих недостатков, как это случилось с ней в 61 или 905 годах, продолжала существовать и отделалась простой *эволюцией*, *частичным* исправлением своих недостатков, не произошло; революцию для этого достаточно «углубили». И к чему бы это ни приводило, пока для *революционеров* жалеть об этом было бы малодушием или прямой непоследовательностью. Это значило бы недостаточно ненавидеть старую Россию, значило бы желать в качестве главы государства члена исторической династии вместо Калинина, значило бы помириться с тем, что не вовсе исчезнет с лица земли традиционный помещик и предпочитать реформу 61 г. «аграрным движениям». Это было бы отступлением от революционных традиций. Те, кто, видя облик будущей России, теперь жалеют о старой, кто хотел революции только потому, что воображал ее бескровной, подобно тому, как иные легкомысленно толкают к войне потому, что представляют ее себе в виде военной прогулки, могут сейчас впасть в отчаяние, как тот, кто, играя револьвером, сам застрелил близкого человека. Но это означает только одно: такие люди числились революционерами, а на деле принадлежали к *либеральному* лагерю, как среди *этого* лагеря многие по характеру и темпераменту принадлежат к *революции*. Эти ошибки — их *личный* вопрос; настоящие же революционеры,

хотевшие гибели старой России, оплакивая неизбежные жертвы, как военачальник оплакивает погибших солдат, все же торжествуют победу; старой России с ее недостатками больше не будет.

Раз это так, то хотя бы революционеры и признавали ошибки, которые они сделали, хотя бы и понимали, что благодаря им они увеличили понапрасну число жертв, которыми заплачено за победу, к этим ошибкам они могут относиться спокойно; победителей все же не судят и *им* ошибки прощают. И как ни искренно негодует «революционная демократия» против гнусностей большевизма, который опозорил в глазах мира их любимую революцию, как ни противопоставляют Февраль Октябрю, для многих из них ненавистный Октябрь, несмотря на все свои мерзости, и сейчас ближе старого строя, почему эти люди могут и *теперь* говорить о «завоеваниях» революции. В этом лежит реактив, по которому можно узнать, кто *настоящий* революционер, кто хотел революции не по одному недоразумению, не потому, что *не понимал*, в чем она состоит. Этот реактив проявлялся всегда, когда приходилось делать выбор между продолжением революции и возможным восстановлением старого строя; революционеры тогда вставали за революцию. 11 лет тому назад призрак Корнилова помирил Февраль с Октябрем; правда, Октябрь тогда был только в проекте, показать себя не успел. Но когда он уже обнаружил себя в своем *истинном* виде, заставил Февраль пойти войной на Октябрь, то и тогда один намек на возможное возвращение старого строя породил ту формулу: «ни Ленина, ни Колчака», которая в тот момент была *помощью большевикам*. И недавно на Брюссельском конгрессе⁹, когда гибельная роль Октября не только для России, но для всего мира была очевидна, получила международную санкцию формула *защиты большевизма* против того, в чем угодно было видеть реакцию. Если бы это объявили одни иностранцы, это могло быть понятно; недаром Larocheфoucauld так глубоко сказал: «Nous avons tous assez de force pour supporter les malheurs des autres»¹⁰. Иностранцам России не жалко. Но к этой формуле присоединились видные члены и тех *русских* политических партий, которые вели и ведут борьбу с Октябрем и страдают от него, во всяком случае, не меньше, чем от правительства при *старом* режиме. И все-таки они готовы его *защитить*. Почему? Я однажды прочел в «Известиях» любопытную статью П. С. Когана, моего бывшего товарища по университету, сейчас оказавшегося, к удивлению всех его знавших, в звании Президента Академии. Пусть своей статьей Коган только расплачивался с большевиками за свое незаслуженное возвышение; но он все-таки должен был говорить вещи, которые в них отклик находят; эти вещи характерны. Коган не мог не признать того, что

с бесстыдством отрицает более умный, но и более бессовестный другой мой товарищ, М. Н. Покровский. Он признал, что наука, литература и вообще культура пали в России. Но он все-таки себя и других утешает: «Зато теперь это *наша* культура, *наши* ученые». Он сопоставляет с этим промышленность: «Нельзя отрицать, — говорит он, — что продукты национализованной промышленности и хуже и дороже продуктов прежних буржуев; но мы не горюем; по крайней мере теперь они *наши*». В этом сущность революционного настроения; слабость старой России была именно в этом. В ней было слишком много людей, кто себя в ней *дома* не чувствовал; для которых Россия, ее могущество, ее богатство, ее культура были чем-то *чужим и враждебным*. Эту чужую для них Россию они не любили и ее не пожалели; а в новой России они все же видят *свою*. Mutatis mutandis мы видим то же самое настроение и в большей части нашего зарубежья. Здесь часто тоже *не хотят* эволюции большевистской России, хотя, как говорят голоса из России, очень многие там, поняв, что такое подлинная революция, новой революции сейчас боятся пуще всего. Здесь, в зарубежье, тоже не верят в возможность «эволюции» и самые разговоры о ней клеймят как соглашательство. И совершенно последовательно здесь не радуются успехам страны под большевизмом, если они не направлены прямо *против* большевиков, если это не восстания, не убийства, а просто успехи культуры или экономической жизни, т. е. такие успехи, которые в окончательном счете задушат коммунистический строй. Все это здесь кажется *чужими успехами*, от которых при этом падают шансы нового *революционного* переворота в России; и потому *здесь* им не радуются; здесь склонны эти успехи замалчивать, отрицать или, наконец, «разъяснять». Если бы насильственное падение большевизма в России повело бы к кровавым событиям, массовым погромам, даже к временному распаду России, иные перед этим не остановились бы; они бы считали, что и при *таком* результате жертвы сторицей окупятся. Политические настроения имеют свою логику; такова *всякая* революционная идеология. Несчастье России и грех ее правящих классов были именно в том, что они в 1917 году такую революционную идеологию создали и не им кого бы то ни было за нее упрекать. И для тех, кто такой идеологией был и остался проникнут, для нашей «революционной демократии» Февраль, *несмотря на Октябрь*, все-таки благо; люди этого настроения могут говорить о «завоеваниях» Февраля, чувствовать себя победителями и потому не интересоваться ошибками, которые не помешали этой победе.

Но если революционеры и защитники старого строя с разных точек зрения и с разным правом могут одинаково найти в русской

революции нечто положительное для своих партийных позиций, то что отрадного может дать она для того лагеря, который для простоты я буду называть «либеральными»? Это наименование неясно, а для многих, как недостаточно демократическое, и одиозно. За термин я не стою. Я под либералами понимаю людей, которые сознавали необходимость коренного преобразования России в том направлении, которое в Европе было принято называть либеральным. В ней по этому пути шли все реформы 18-го и 19-го веков; на него стала и Россия в 61-м году и сделала новый решительный шаг в 905 г. Желанием вести Россию и дальше по *тому же* пути, сблизить ее с современными государствами Европы — все либеральные течения отмежевывались от сторонников *старых русских устоев* и потому могли быть противопоставлены им как единое идейное целое. От революционеров же, из которых многие хотели того же, либералы отличались тем, что считали необходимым идти к своему идеалу не путем насильственных катастроф и скачков, не разрушением старого, а естественным *его развитием и улучшением*, словом, тем, что носит название «эволюции». В этом лежала грань между революционерами и либералами. Правда, в недавнем прошлом, когда революция казалась еще не реальной опасностью, а мечтанием утопистов, которые гибли за эту мечту, эта грань не представлялась существенной; и у либералов, и у революционеров был один общий враг, а против него оба лагеря могли быть друг для друга полезны. Отсюда их стремление не углублять, а скрывать разногласие. Но все-таки отношение к революционным методам действий, выбор между свержением и, по крылатому выражению П. Б. Струве, «оздоровлением» власти был и прежде не безразличен. Им определялось различие двух политических мировоззрений, которое не позволяло смешивать эти два лагеря. Различие между ними было бы неправильно искать в их *программах*; оба лагеря не были однородны, и программы в том и другом могли совпадать. Так, например, проведение до конца демократизма со всеми последствиями, из него вытекающими, могло быть и в том, и в другом. Но зато всегда оставалась разница в *способах борьбы за эти программы* в связи с *свойствами мировоззрения*, которое эту разницу объясняло.

Тот, кто стоял за эволюцию, тем самым стоял за «постепенность» в реформах; одно не идет без другого. Если в либеральном лагере могло быть разномыслие по вопросу о возможном и желательном *темпе* реформ, о том, что можно уже сейчас считать своевременным и исполнимым, то критерием для разрешения этого была возможность сохранить при реформе порядок, избежать тех скачков, которые привели бы к распаду и разрушению существу-

ющего строя. Разномыслие в оценке *этой* возможности делило либеральный лагерь на оттенки и фракции, но самый принцип, принцип эволюции, никем не оспаривался. Тот, кто сознательно шел на «революцию», предпочитая ее постепенным, но зато легальным реформам, не мог принадлежать к либеральному лагерю.

Это понимание было связано с другими свойствами либерализма. Либерализм понимал опасность для государства уклонения от *законных* путей. Он был привязан к закону и праву, которые ограждают личность от насилия со стороны как государственной власти, так и толпы. *Les vacances de la légalité*¹¹, о которых с таким благодушием говорил недавно французский социалист и которые в русских условиях не могли не превратиться в правовую анархию, были органически несовместимы с воззрениями либерализма. Законность, правовой строй и правовой порядок были теми основами, которые либерализм выдвигал *против* самодержавия. Замена одного «самодержавия» другим, беззаконной бюрократии беззаконной «улицей», к чему на более или менее долгое время, но всегда приводят *все* революции, противоречила либеральному идеалу. Стремиться к этому и даже просто с этим мириться значило бы отказываться от самых устоев либерализма.

Эта идеология определяла и его отношение к старому. Я имею, конечно, в виду «либералов» по убеждению, а не тех, кто, будучи революционерами в душе, по разным соображениям или просто по недоразумению укрывались под либеральное знамя. У сторонников национальной органической «эволюции» не могло быть огульной ненависти к старому строю; они видели его недостатки, слабости и преступления, но зато видели и возможность их исправления силами *этого* строя. Они не забывали примеров ни 60-х годов, ни 900-х годов, когда без революции так много было достигнуто. Эти примеры показывали, что русская история создала не только основные начала старого строя, но и те силы, которые неизбежно его изменяли. Эти силы, т. е. русская «либеральная общественность», не были наносным явлением; они органически выросли из недр русской жизни, появились во всех сферах — земской, интеллигентской и даже чиновничьей, были связаны и с существующими *правлящими* классами и с теми *новыми оппозиционными* формациями, которые вырастали на почве реформ старого строя. Клеймя темные стороны этого строя, «либеральная общественность» не обрекала его на уничтожение, не собиралась строить все заново. Недаром последовательные революционеры причисляли и либерализм к числу тех своих врагов, которые при торжестве революции сами подлежали бы уничтожению.

Определяя то содержание, которое я вкладываю в термины «революционный» и «либеральный», я сознательно говорил о течениях, о настроениях, а не *партиях* как *организованных* и дисциплинированных *коллективах*. Организованные партии всюду, а в России больше чем где-бы то ни было, захватывали только ничтожный слой народного организма. Сочувствие к ним со стороны широких масс населения, часто основанное на простом непонимании того, что эти партии из себя представляли, могло проявляться только в *отдельные* моменты жизни страны, будь то мирные выборы или кровавая революция. Потому-то большее значение, чем программы организованных партий имели те *настроения* отдельных лиц и кругов, которые в решительный момент определяли их симпатии к партиям и их руководителям. Но нельзя отрицать громадной роли и организованных партий, особенно в позднейшей истории России; может быть, эта роль была даже чрезмерна. Поскольку мы имели дело не со стихийными движениями масс, которые время от времени могли неорганизованно себя проявлять, а с ходом политической жизни на поверхности государственного механизма, поскольку речь идет о вращении конституционных колес, о сношениях правительства с обществом, о деятельности Государственной Думы, постольку мы имели везде это новое «средостение» — политические *партии*, их комитеты и руководителей. Партии властно, а в значительной мере и безответственно давили на ход нашей политической жизни.

Кроме «управления» конституционной машиной, у партий была другая задача; они были политической школой для общества, формулировали и воспитывали политическую мысль и сознание; в этом была их *положительная* сторона и заслуга. И раз это так, не безразличен вопрос, к какой категории отнести те или другие политические организованные партии.

Этот вопрос больше всего интересен относительно партии, которую в общежитии называли *кадетской*. У нее есть особое право на такое внимание. Долгое время она как бы олицетворяла собой весь русский либерализм, была не только самой организованной и влиятельной партией прогрессивного лагеря, но в строгом смысле единственной. По крайней мере, эту свою монополию она ревниво охраняла сама, поспешно, хотя не всегда справедливо уличая тех, кто ей не подчинялся, в реакционных симпатиях и зачисляя их в ряды скрытых сторонников старого строя. В истории нашей политической жизни до революции роль кадет оказалась громадной. Революция стала ее испытанием и концом. Ее положение тогда переменилось; в глазах новых масс ей опять пришлось быть «олицетворением» только уже контрреволюции

и реакции; кличка «кадет» стала синонимом «белогвардейца». С этих пор жизнь партии превратилась в агонию и закончилась в 20 году формальным расколом, т. е. уничтожением партии¹². Теперь партии более нет; ее деятельность ушла в историю, и о ней можно говорить, не опасаясь ей повредить.

На языке европейском эта партия имела бы определенное имя; она — партия «радикальная». Как показывает самое слово, это — партия отвлеченных принципов, логических построений. Принципом, одушевляющим ее, была идея «народоправства». Партия ввела в свою программу все главные тезисы, последние слова демократического народоправства. Она мыслила русский политический строй как строй парламентарный, с одной палатой, созванной по четыреххвостке; не отрицала монархии, но при условии, что монарх будет только царствовать, не управлять. Такая доктринерская программа в главных чертах определилась уже во время той заключительной борьбы общества с самодержавием, которая получила у нас название «освободительного движения». Во время этого движения одному принципу — самодержавию — был противопоставлен другой — народовластие в наиболее *полном* развитии. К этому лозунгу старались привлечь возможно более широкий фронт, не только оппозиционных, но и революционных течений. Лозунг вышел по необходимости упрощенным и демагогическим, каким и должен был быть, чтобы удовлетворить своей временной цели. Это неизбежное форсирование либеральных требований, сближение либералов с революционерами составляло главный исторический грех и Немезиду самодержавия, ибо именно политика самодержавия к этому привела. Но Союз Освобождения, который выдвинул это знамя, не был политической партией и не собирался ею быть; его роль ограничивалась *объединением* на определенный момент всех живых сил страны против общего врага — самодержавия. Выработка идейной доктрины, как знамени для *этой* борьбы, составляла специальную задачу и историческую заслугу Союза Освобождения.

Кадетская партия образовалась одновременно с падением самодержавия; ее учредительный съезд начался до 17 октября, а закончился уже после¹³. В разгар всеобщей забастовки, в Долгоруковском доме, слабо освещенном свечами, среди делового вечернего заседания, И. А. Петровский прибежал из редакции «Русских ведомостей» с только что полученным телеграфным текстом октябрьского Манифеста. К этому моменту программа партии была в главных своих чертах принята. Основные положения «Союза Освобождения» перешли в нее уже как *практическая программа* политической *партии*: парламентаризм, четыреххвостка,

не только для выражения народного суверенитета в парламенте, но для управления *местной хозяйственной* жизнью; незыблемость политических прав и свобод, перед которыми отступают права государства, и т. п. Достаточно сказать, что П. Н. Милюков в речи, произнесенной им на учредительном съезде, речи, которая, если не ошибаюсь, была напечатана вместе с программой партии как официальное партийное *credo*, с полным правом заметил, что кадетская партия по своей программе является самой левой, *самой радикальной* из всех существующих демократических партий в Европе.

Этой «радикальной» партии на первых же шагах конституционного опыта в России суждено было стать олицетворением *всего русского либерализма*. Если это не было причиной неудачи либерализма, то, конечно, это было предзнаменованием такой неудачи. Гегемония кадет показывала такую опасную нетерпеливость и неподготовленность русской либеральной общественности, которые грозили России или «революцией», или «реакцией». Существование партии с «радикальной» программой было вполне естественно и даже полезно. Но чрезмерный успех этой партии, заслонившей собой более осторожных и опытных либералов, был несчастьем для нее самой. Он предоставил ей роль, которая в тот исторический момент должна была принадлежать еще *не ей*.

Но как ни радикальна была *программа* кадетской партии, партия была все-таки эволюционной, а не революционной. Судить об этом следует не по ее полемике с левыми. По «тактическим соображениям» кадетская партия этой полемике не хотела; но революционеры сами ее не щадили. Радикализм кадетской программы вносил смуту в их лагерь, отнимал у них сторонников. В 905 г. поэтому на кадетках сосредоточилась ненависть тех, кто работал в России над подготовлением революции. На многочисленных митингах, на которых в эти годы кадетам приходилось защищаться от революционных нападков, они принимали всегда позицию обороны и в наступление не переходили. Опасность революции не казалась тогда настолько серьезной, как опасность реакции. Вреда, который принесло бы России торжество революции, кадеты вскрывать не хотели; такие доводы были монополией правых, а смешиваться с ними кадеты боялись больше всего. Кадетам по традиции приходилось защищать революционеров от существующего строя, а не существующий строй от революционеров; поэтому на митингах и в печати революционерам возражали одно: что революция у нас *невозможна*, что попытки ее добиться только *служат реакции*. Кадетские аргументы *далее* не шли; для полемики с левыми этого было достаточно. Не по *этой* литературе

должны мы судить о кадетях; для решения вопроса об их отношениях к революции у нас есть данные более убедительные.

«Эволюционную» тактику рекомендовал кадетам, прежде всего, самый состав этой партии; как ни была она разнородна, у нее было идейное руководство, был, как полагается, многолюдный центральный комитет, ежегодно почти в полном составе переизбравшийся. Влияние отдельных членов этого комитета одинаково не было; но в нем были главные вдохновители партийной идеологии, ее ответственные вожди. Между ними и рядовыми членами партии, особенно ее провинциальными органами, происходили иногда несогласия; избиратель мог давить на комитет, двигать его то левей, то правей, но изменить его главную линию, его принципиальную позицию избиратель не мог, да, очевидно, и не хотел, так как идейное руководство партией в ней оставалось бессменно. Поэтому по центральному комитету, по его совокупности и особенно по всем признанным *лидерам* можно судить о политической физиономии партии. Состав этих лиц был характерен; здесь были не люди «тюремного стажа», но испытанные борцы на различных поприщах *легальной* общественной жизни; и те из них, которые в свое время не избегли административных взысканий, пострадали не за «революционную» деятельность, а за преданность *конституционным* идеям. Неудивительно, что среди наиболее заметных лиц этой партии оказались люди, которые долго себя готовили и хорошо подготовили к парламентским битвам; были знатоки конституций, регламентов, прецедентов конституционной жизни народов. Ко времени открытия Думы у партии были свои готовые кадры, почти свой накопленный опыт; никакая другая партия в этом отношении не могла бы с ними померяться; руководители партии были как будто бы для этого созданы. Но зато также мало годились они для революции; для этого нужны были другие люди и темпераменты. Один из самых талантливых и мудрых членов партии М. М. Винавер в своих воспоминаниях о блестящем, искреннем, увлекательном Ф. Ф. Кокошкине приводит такую фразу последнего, сказанную им в период революции: «Мы с вами рождены быть парламентариями, а судьба все ставит нас в условия, где борьба должна вестись другими путями. Так было всегда, в 1905–1906 гг.; так оно и теперь». Винавер озаглавил статью о Кокошкине «Трагедия русского парламентария». Все это правда. Оба эти выдающихся кадета родились превосходными парламентариями и Debater'ами; другие могли быть менее блестящими, чем эти, но парламентское и вообще легальное поприще было общим *для всех*. Партия *все* потеряла, когда принуждена была играть роль в условиях революции.

Мирная эволюционная тактика кадет стала даже в противоречие с радикализмом, неумеренностью ее *партийной программы*; это не осталось скрыто от людей более боевого, чем они, темперамента. В память мою врезалось одно воспоминание из очень отдаленного времени. Немедленно по образовании партии в 905 г. В. Я. Богучарский, а кажется вместе с ним и Е. Д. Кускова, выбранные на учредительном съезде в члены центрального комитета, вышли из партии; они были *левее* ее. Но когда в заседании какого-то из партийных комитетов их стали уговаривать не уходить, убеждая, что между ними и партией нет программного разногласия, что кадетская партия приняла самые левые пожелания демократии, Богучарский ответил, что именно в *этом* он видит основной порок этой партии: она приняла программу, которую при усвоении ее тактики осуществить невозможно. Если партия отбрасывает неконституционные методы действий, даже столь испытанные, как политическую забастовку, то партия делает свою левую *программу* неосуществимой и несерьезной. В. Я. Богучарский был прозорлив; этому противоречию было суждено очень скоро и не раз обнаружиться. Но если партия все-таки предпочла расстаться с видными и популярными деятелями, чем изменить свою тактику, это показывает, насколько твердо она стояла на эволюционной позиции.

В первые годы партийной жизни, когда приходилось еще дебатировать и формулировать то, что потом стало простой традицией партии, на одной из партийных конференций в Москве Струве прочел интереснейший и поучительный доклад об «идеологии партии»¹⁴. Если не ошибаюсь, он был потом напечатан в партийном «Вестнике народной свободы». Струве доказывал, что кадеты — партия «либеральная» и «эволюционная» и что в этом ее особенность. Партия отметала идеологию революции, которая состояла в возбуждении розни в стране, в культивировании классовых и других противоречий, в превращении их в социальную злобу; партия ставила целью выявление и осуществление *национальной солидарности*, не углубление, а *примирение* социальных противоречий, что должно было достигаться компромиссным конституционным путем; такая идеология прямо противоположна революционной.

Отсутствие в арсенале партии нелегальных средств для борьбы, ее неподготовленность и нерасположение к революционным приемам обнаружилось ярко в тот роковой момент жизни партии, когда обстоятельства заставили ее подумать об *этом* оружии. Это был роспуск первой Государственной Думы. Серьезных оснований, чтобы прибегнуть к революционным методам тогда в существе не было;

ропуск был актом формально легальным. Но Дума, к несчастью, так связала себя неосторожными заявлениями, что не разойдется, своего дела не сделав, наивными уверениями, будто страна верит только ей, Государственной Думе, и что только она и возбуждаемые ею надежды удерживают народ от восстания, что она уже не могла подчиниться роспуску, не потеряв престижа и обаяния. Да и страна, которую Дума за два месяца жизни успела глубоко взбудоражить, напряженно ждала *от нее* сигнала и указаний; если когда-либо возможно было дать ей сигнал для выступления, то именно в этот момент; такой благоприятной обстановки и такого острого напряжения не было ни раньше, ни позже. Кадеты были руководящей партией Думы и подавать сигнал приходилось именно им. Революционные партии Думы, еще вчера враждовавшие с кадетской фракцией, пораженные внезапностью роспуска, согласились на ее руководство. Из замечательной книги Винавера о «конфликтах в I-й Государственной Думе», книги, которую, к сожалению, я ни у кого не мог за границей достать¹⁵, в том числе и у самого автора, чтобы проверить свои воспоминания, в мою память врезались приведенные в ней слова, с которыми Жилкин, один из думских лидеров левых, обратился после роспуска к кадетам: «Теперь уже будем с Вами за одно; ведите!» И несмотря на такую ответственную и благоприятную обстановку, все, что кадеты смогли придумать в этот момент, было пресловутое Выборгское воззвание. Я еще вернусь к этому акту, который так мало соответствовал тому, чего ждала страна и ее руководящие слои. Но вот что характерно: уже и тогда, вскоре после воззвания, была попытка его объяснить как средство предотвратить революционные выступления масс. На процессе об этом воззвании Муромцев в заключительном слове мимоходом бросил мысль, которая расходилась с речами других и со всей обстановкой процесса, а именно, что Выборгское воззвание было подписано как средство *помешать* неизбежным революционным эксцессам¹⁶. Мне казалось тогда, что *так* мог думать лично сам Муромцев. Я отчетливо помню, как на заседании Центрального комитета партии вскоре после воззвания, когда в Комитете происходило его обсуждение и я передал Муромцеву свое недоумение перед этим воззванием и свое полное с ним несогласие, он мне ответил загадочной фразой: «Многие из тех, кто его подписали, с ним несогласны». Это была глубокая правда, в которой мне вскоре пришлось убедиться из разговоров с М. Я. Герценштейном, Г. Б. Иоллосом, П. И. Новгородцевым, С. А. Котляревским и другими, которые также его подписали. Я поэтому мог бы допустить, что *некоторые* из членов кадетской партии, подписавших это воззвание, имели перед собой эту контр-

революционную цель. Но, по-видимому, дело не ограничивалось отдельными лицами. В книжке П. Н. Милюкова «Три попытки»¹⁷ на странице 63 говорится следующее: «Для членов партии народной свободы это (т. е. Выборгское воззвание) была попытка *предотвратить* вооруженное столкновение на улицах Петрограда, заведомо осужденное на неудачу...» И дальше на стр. 65: «Выборгский манифест не вызвал народного сопротивления, но своих ближайших целей он достиг. Общественному негодованию был дан сравнительно свободный и законный выход; правительство же продолжало некоторое время пребывать в страхе, что те опасения, которые оно само питало, колеблясь решиться на роспуск Думы, могут оправдаться. Не будь Выборгского манифеста, наверное, не было бы назначения выборов, или они были бы назначены с тем нарушением избирательного закона, какое имело место после роспуска второй Думы».

Это больше, чем мнение *отдельных* членов партии, и сказано *тогда*, когда нет оснований умышленно замаскировывать смысла возвания. Можно, конечно, не соглашаться с выводом П. Н. Милюкова, будто *благодаря* этому возванию последовало назначение дня для выборов. Срок *созыва* следующей Государственной Думы был указан в самом акте о роспуске, а назначение *дня выборов* дата несравненно менее важная, *состоялось* уже после 1-го ноября, т. е. после набора рекрутов, когда провал Выборгского возвания был налицо. Да и впоследствии, если память меня не обманывает, при роспуске III-й Думы, заблаговременно был указан только день *созыва* Думы, а не день выборов. Но сейчас интересно не утверждение, будто только *благодаря* Выборгскому возванию *выборы состоялись*. Интересно другое авторитетное свидетельство П. Н. Милюкова, что воззвание имело *целью* не помешать сбору налогов и рекрутов, а *предупредить революционные эксцессы страны*. Если партия *так* думала и поступала в *подобный* момент, ясно, насколько она была далека от революции.

Освещение этой партийной позиции, не вполне искренней по отношению к революционерам, но зато совершенно лояльной по отношению к государственной власти, любопытно еще потому, что вполне гармонирует с тем, что незадолго до роспуска совершалось в руководящих тайниках этой партии. Это уже давно было секретом полишинеля, а теперь перестало быть вовсе секретом. Незадолго до роспуска Думы шли официозные переговоры с вожаками партии об образовании кадетского министерства; об них говорит сейчас в той же брошюре «Три попытки» и наиболее осведомленный в этих переговорах П. Н. Милюков. Позиция руководителей партии при этих переговорах была весьма характерна. Принци-

пиального отказа от предложения они не давали; при известных условиях они в правительство *соглашались* идти. И по сию пору в кадетской прессе можно встретить мнение, что если бы кадетские условия были своевременно приняты и если бы эта комбинация состоялась, то революция 17 г. могла быть избегнута. Во всем виноват Столыпин, который эти переговоры сорвал. Я иначе смотрю на то, что вышло бы из такой комбинации; но важно не это. Важно, что кадетские лидеры готовы были принять власть от монарха, готовы были стать *правительством при существующем строе*. Этим они взяли бы на себя и обязательство защищать этот строй от революционных на него посягательств. Им пришлось бы на деле доказывать то, что за год перед этим на первой встрече монарха с русской либеральной общественностью¹⁸, на историческом приеме земской делегации в Петергофе, где были столпы будущей кадетской партии, Долгоруковы, Петрункевич, Родичев, Кокошкин, Головин, от имени всех, в том числе и кадет, сказал кн. С. Н. Трубецкой: «При представительном *строе крамола будет совершенно бессильна*». Какие бы условия для принятия власти кадеты ни ставили, приняв ее, они становились органом конституции, и Милюков правильно говорит в своей брошюре, на стр. 47, что «кадеты у власти оказались бы вовсе не такими разрушителями и революционерами, какими представлял их Столыпин». Нет никакого права предполагать, чтобы согласие кадетов стать правительством могло быть неискренним. Нельзя думать, чтобы вхождение их во власть было бы для них только способом *открыть двери для революции*. Они пошли бы во власть не затем, чтобы взрывать изнутри тот строй, который их бы призвал; они взяли бы за реформы, которые могли *этот* строй укрепить. Другое дело, — насколько такую задачу они могли бы исполнить. Но они ее *так понимали*.

Они остались при той же идеологии и позднее, когда вместо призыва их в министерство была распущена Дума, когда им пришлось для спасения своего престижа компрометировать себя Выборгским воззванием, когда, несмотря на их лояльное поведение во II-й Думе, была распущена и эта Дума и состоялся государственный переворот 3-го июня, словом, когда *могли* кончиться так называемые «конституционные иллюзии» и когда позволено было усомниться в действительности и достаточности исключительно конституционной работы. И вот уже тогда, при III-й Государственной Думе, перед лицом всей Европы на банкете лондонского лорд-мэра в Гильд-Голле П. Н. Милюков сказал нашумевшую фразу, что либеральные партии в России сейчас «оппозиция Его Величества, а не Его Величеству»¹⁹. Эти слова, которые именно

в Англии имели свой всем понятный и определенный исторический смысл, устраняли возможность считать кадетов за революционную партию. И что еще важнее, эти банкетные слова были одобрены партией. По возвращении домой Милюкову пришлось давать объяснение в своих прегрешениях. Оно было не одно. Во время нашего пребывания в Лондоне рабочая партия, чуть ли не сам Рамзай Макдональд напечатал резкую статью, в которой, приветствуя приехавшую делегацию, счел нужным выразить порицание русскому государю. По нравам английского общественного мнения русская делегация не могла оставить такой статьи без возражения; на это горячо указывал нам наш посол Бенкендорф. После горячих споров в среде делегации решено было такой протест напечатать, хотя подписать его от имени всех должен был один Хомяков, как председатель Думы и делегации. Оба эти факта по нашем приезде в Россию были многими поставлены в вину Милюкову. Приходилось давать объяснения. Я не помню, какая резолюция была принята кадетскими органами, но помню, как во время прений самые левые члены ЦК, находя, что протест против статьи в рабочей газете, т. е. отождествление своей чести с честью главы государства, противоречит либеральным *традициям*, тем не менее признавали, что именование себя на банкете лорд-мэра «оппозицией Его Величества» совершенно удачно и *точно*.

Таким образом, как ни радикальна была законодательная программа кадет, как ни глубоко она хотела реформировать существующей строй, но по составу партии и ее идеологии, по многочисленным прецедентам в ее деятельности надо признать, что осуществлять свою программу они собирались исключительно эволюционным, а не революционным путем, и что потому эта партия целиком входила в тот лагерь, который я для простоты назвал «либеральным». В кадетях был дух «оппозиции», а не *разрушения*; не было ненависти к старине и старому строю, с которым многие из них и не из последних были связаны всем своим прошлым. Едва ли не кадет имел в виду А. Ф. Керенский, когда на Государственном совещании в Москве бросил свою крылатую фразу: «Вы слишком мало ненавидели и потому слишком скоро забыли»²⁰. Как ни старались кадеты *замалчивать* свое отличие от революционных течений, как ни громили они не только старый строй, но и другие либеральные, не кадетские партии, а все же, когда революция совершилась, и они приняли власть из рук революции, именно им на первых же шагах новой власти пришлось вести войну с «революционной демократией», сосредоточить на себе ее ненависть и явиться последней надеждой ошеломленных и перепуганных сторонников старого строя. Тот скрытый

барьер, который их отделял от революционеров, обнаружился тогда со всей резкостью. Кадеты примкнули и к белым движениям, когда пришлось делать выбор между большевиками и ими; нейтралитета относительно большевиков они не объявили, как ни противоречили их воззрениям многие действия и грехи белых армий. Словом, своей идеологией наша русская *радикальная* партия-кадеты не отличались от русского *либерализма*, была его разновидностью, и я могу говорить о всех них вместе.

Можно ли отрицать теперь, что наступление и развитие революции в России явилось крушением надежд «либеральной общественности», было именно *ее* неудачей?

Ей ни с какой стороны ни торжествовать, ни злорадствовать не приходится. Она ни в чем не победила и может на своей стороне считать одни поражения. Основные идеи либерализма осмеяны и растоптаны и возродятся не скоро, даже когда пройдет кошмар большевизма и Россия может вновь стать культурной, богатой и сильной. Будущая демократическая Россия все-таки еще долго не будет царством свободы, права и уважения к человеку. Обаяние этих основных принципов нашей исторической оппозиции исчезло вместе с ее антиподом, со старой Россией. Если «революционная демократия», даже проклиная большевиков, может все-таки приветствовать Февраль, который осуществил ее пожелания, может находить в революции не одно горе, но и «завоевания», если эта демократия может, не противореча себе, даже защищать большевиков от реакции, то о какой «победе» и каких «завоеваниях» мог бы говорить либерализм, если только он не изменил себе, своим заявлениям и всей своей прежней идеологии?

Революция была не победой, а поражением либерализма. Но может ли «либеральная общественность», по крайней мере, успокоиться тем, что она всеми мерами *боролась* против наступления революции? Да, конечно, она боролась самым действительным средством. Она не раз говорила, и это был лейтмотив либерализма, что единственный способ помешать революции — это своевременное проведение *сверху нужных реформ*. Либералы любили цитировать фразу Бисмарка, что сила революционеров не в идеях их вожаков, а в небольшой дозе *умеренных* требований своевременно неудовлетворенных. Эта мысль глубока и верна. Роковая ошибка старого строя, которую он теперь и сам понимает, была именно в том, что он не сумел оценить эту истину и *тем* привел к революции. Но может ли либеральная общественность утверждать, что верно *формулируя* эту задачу, она все время шла к ней *верным* путем, что она не только *понимала*, что надо делать, но и *умела*. Есть факты, на которые закрыть глаз мы не можем.

Не один раз в истории России реформы действительно останавливали возможную революцию; вспомним 60-е и девятисотые годы. В 60-х годах сложная реформа освобождения крестьян, со всеми последствиями этого освобождения по глубине и размаху во много раз превышала трудности реформы 905 г. И эта реформа была проведена исторической властью, без непосредственного участия общества. Либеральная «общественность» того времени вдохновила эту реформу, была ее идейным творцом, но руководство ее практическим осуществлением власть оставила за собой. Устранение общественности вызвало в ней тогда горькое разочарование. Она находила, что благодаря этому реформа была искажена, что при ее участии она была бы сделана и полнее, и лучше. Но если бы даже это было и верно, то при всех своих несовершенствах реформы 60-х годов оказались все-таки настолько удачны и прочны, что их не смогла смыть реакция; и недостатки реформ оказались не в них, а в том, что их потом не продолжали. А зато, и это есть главное — грандиозное переустройство всей жизни на новых началах совершилось без потрясения, и рискованная реформа, проведенная бюрократией, не только не привела к революции, а надолго ее устранила. В этом деле бюрократия оказалась на высоте положения. Второй раз новый взрыв революции был остановлен в 905 г.; снова громадный этап был и на этот раз пройден; изменился весь облик русской земли и ее политической жизни. Но в 1905 году соотношение сил было другое. Не император, как в 57 г., взял на себя *почин* реформы; не он шел впереди с *передовым меньшинством правящих классов*. В 905 г. император боролся с общественностью за старый порядок; эта борьба и вызвала грозный призыв революции. Император решился наконец уступить, но для проведения этой новой реформы пошел опять-таки не по тому пути, которого хотела наша общественность. Конституция была выработана не в Учредительном собрании, на чем единодушно настаивало либеральное общество, а бюрократическим путем, в тайниках правительственных совещаний, и опубликование ее 26 апреля 906 г. для общественных деятелей оказалось сюрпризом²¹. Этот прием опять вызвал негодование и протесты, которые по условиям времени получили и более громкое выражение. И, как в 60-х годах, эту бюрократическую работу общественность осудила со всей беспощадностью. И сейчас доброе слово об основных законах 906 г. выставляется как реакция, которая порочит политическую репутацию человека. Эти законы при всех своих несовершенствах были все-таки таким огромным шагом вперед в сравнении с эпохой легального самодержавия, что они и сами по себе заслуживали лучшего приема, чем тот, который оказала

им в то время наша общественность. Но главное, и в 1905 году, несмотря на недостатки этих законов и прием, им оказанный, революция все же была остановлена. Правда, остановлена не сразу, не без жертв, не без пролития крови, но все-таки остановлена. И можно быть совершенно уверенным, что если бы не было войны, то уступки, сделанные в 1905 году и выразившиеся в конституции 1906 года, оказались бы вполне достаточными, чтобы надолго, если не навсегда, предотвратить опасность новой революции. Эти уступки и способы их проведения — были опять-таки делом одной бюрократии; общественность хотела идти совершенно другими путями. Но вот наступил третий опыт 1917 г. Либеральная общественность победила вполне; историческая власть и ее бюрократический аппарат были сломаны и программа русского либерализма могла на этот раз быть осуществлена им самим. Наши общественные либеральные деятели, вошедшие во Временное правительство, присвоили себе в нем полноту власти, стали по объему своей власти как до 1906 года *неограниченным* самодержцем. Перед этим правительством, в более опасной форме, стояла снова задача не только провести во что бы то ни стало свою программу реформ, но, главное, *остановить* этим грозящую революцию. Историческая власть в свое время и в 60-х годах, и в 900 годах с подобной задачей справилась и революцию остановила; либеральная общественность в 917 г. в 6 месяцев привела Россию к концу, который мы знаем.

Конечно, в 1917 году обстоятельства были труднее. Это дает возможность теперь утверждать, ибо противного доказать уже невозможно, будто революция была неизбежна, и никакое искусство ее остановить не могло. Такого утверждения невозможно проверить; его нельзя ни доказать, ни отвергнуть. Но потому *так* вопроса и ставить нельзя. Мы можем спросить себя только: все ли было сделано либеральной общественностью, чтобы революцию *предотвратить*? Всегда ли она поступала так, как *должна* была поступать по своей *идеологии* партия «эволюции», как этого от нее требовала та *роль*, которую на нее возложила история и на которую она сама претендовала?

Ведь роль «либеральной общественности» была двойной. В лице своих излюбленных организованных партий она сражалась со старым порядком, обличая его несоответствие идеалу, обнаруживая неискренность и недостатки его начинаний, словом «разоблачала» и «критиковала». Эту задачу «критиков», как бы «официальных оппонентов», наша общественность сумела исполнять виртуозно. Но эта задача была не единственная, и даже не самая важная. Либеральная общественность претендовала на большее, на уменьше

практически проводить в жизнь свои взгляды, считала себя призванной быть не только «критиком», оппозицией, но и заменить негодную *власть*. Этой претензией она отделяла себя от тех, кого не без высокомерия она называла «безответственной оппозицией», от тех, кто сознательно вел страну к перевороту, к революции. Претензия стать властью вне революции и управлять страной в рамках существовавшего строя делала либеральные партии особенно опасными и ненавистными сторонникам старых порядков, но зато была причиной их *популярности* среди обывательского населения. В них обыватель видел ту силу, которая без катастрофы могла принести улучшение. Но претензия эта обязывала. Обязывала либеральные партии считаться не только со своим идеалом, но и с возможностью его проведения в жизнь без потрясения народного организма и без крушения государственного порядка; возлагала на либеральные партии долг всеми мерами стараться не открывать дверей революции. Эти партии должны были помнить слова Мирабо, что между государственными теоретиками и политическими деятелями та самая разница, что между теми, кто передвигается по географической карте, и теми, кто путешествует по земле. Не все сразу возможно, и за это никому не может быть сделано упрека. Все понимают, что нельзя поступить в университет, не пройдя средней школы, иначе вместо университета получают большевистские вузы. Но точно так же и страна, не прошедшая *политической школы*, не воспитана для *полной свободы*. С такой свободой нельзя *начинать*. Помнить об этом либеральные партии должны были не только в 917 г., когда на свою беду очутились у власти, но гораздо раньше, когда власть была не у них, а у их врагов, но когда от отношения их к этим врагам мог зависеть ход развития государственной жизни. Партии «эволюции» надлежало *помогать власти* во всех ее попытках двигаться в *лучшую* сторону, как бы ни было это движение незначительно, если оно все-таки вело к *улучшению*; им надлежало избегать всякого шага, который мог толкать к тупику, из которого не было другого выхода, кроме общего взрыва. Только *такая* политика была бы политикой «эволюции», соответствовала бы идеологии партии и той исторической роли, которую она должна была сыграть при нормальном развитии.

Это предисловие объясняет точку зрения, с которой я смотрю на наше прошлое. Я не собираюсь писать ни исторического исследования, ни простых мемуаров; хочу вспомнить только о некоторых моментах из прошлого, которые при виде того, что теперь происходит, приходят на память. В наших официальных версиях о проигранной нами кампании есть много легенд; в свое время

они могли быть полезны; *теперь* они никому больше не нужны; их можно *пересмотреть* со спокойною совестью. И такой пересмотр не будет излишним. Когда живые силы России одержат верх над теми, кто сейчас старается ее задушить в тисках нищеты и безмолвия, и когда страна будет вновь воскресать во имя *вечных принципов нормального общежития*, будет полезно знать все *без исключения* причины, которые с *разных сторон* приводили к одному и тому же концу — к крушению русского государства. Причины эти не только *чужие* ошибки.

